

НОВОЕ
ДОПОЛНЕННОЕ
ИЗДАНИЕ

Александр Генис
Довлатов
и окрестности

18+

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Уроки чтения (АСТ)

Александр Генис

Довлатов и окрестности

«Издательство АСТ»

2013, 2021

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Генис А. А.

Довлатов и окрестности / А. А. Генис — «Издательство АСТ»,
2013, 2021 — (Уроки чтения (АСТ))

ISBN 978-5-17-138948-2

“Довлатов и окрестности” Александра Гениса — уникальная книга о писателе, ставшем голосом поколения. Специальное издание к 80-летию прозаика дополнено новыми эссе. “Генис написал не литературную биографию, не анализ поэтики, не философский комментарий и не воспоминания — а и то, и другое, и третье, назвав получившееся «филологическим романом»” (Марк Липовецкий). В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-138948-2

© Генис А. А., 2013, 2021
© Издательство АСТ, 2013, 2021

Содержание

От автора	6
Довлатов и окрестности	7
Последнее советское поколение	7
Смех и трепет	12
Поэтика тюрьмы	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Александр Александрович Генис

Довлатов и окрестности

© Генис А.А.

© Липовецкий М.Н., послесловие

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© Аловерт Н.Н., фото

© ООО “Издательство АСТ”

От автора

Каждый юбилей Довлатова меняет отношение к нему, в том числе мое. Чем больше лет проходит со дня его смерти, тем сильнее удивляет, что его нет с нами. Как это так? Все есть, а его нет. Странно. И обидно, что нельзя ему показать улицу его имени в Куинсе. И памятник в Питере. И тот, что уже заложили в Таллине. И миллионы экземпляров книг, которые пришли на место худосочных эмигрантских изданий с мизерным тиражом.

Сергею об этом не расскажешь, но остальным можно. И эта книга – среди прочего – попытка включить посмертную жизнь Довлатова в его биографию. Собственно, об этом я рассказываю уже лет тридцать – в книгах, статьях, мемуарах, интервью, передачах и за столом. Довлатова много не бывает. Секрет его безмерной, а главное, непреходящей популярности перерастает в тайну, бросающую вызов его критикам, поклонникам, но прежде всего – друзьям. Уж это я знаю по себе: дня не проходит, чтобы не вспомнил, не удивился, не восхитился.

Собственно, отсюда и взялся этот сборник. В основе его – “Довлатов и окрестности”. С тех пор, как я размашисто назвал его филологическим романом, мы с читателями пытаемся понять, что это значит. За четверть века этот опус выходил множество раз, в том числе и в карманном издании. Естественно, старели и умирали его персонажи. Но сейчас, заново редактируя текст, я почти ничего не исправил, разве что в печальных случаях заменил настоящее время прошедшим.

Вместо того, чтобы дополнять написанное, я собрал под одной обложкой также несколько эссе и фрагментов, которые на протяжении последних лет написал о Сергее и в связи с ним. Образ Довлатова в них не то чтобы сильно трансформировался, но он отражает перемены в авторской оптике. В молодости мне крупно повезло: дружить и работать с Довлатовым – праздник, который до сих пор со мной. Но старея, я все лучше понимаю Сергея, хотя давно живу там, где его уже не было. Довлатовская проза по-прежнему опережает нас – уже потому, что он жил и писал с запасом.

17 апреля 2021, Нью-Йорк

Довлатов и окрестности Филологический роман

Последнее советское поколение

1

Сегодня мемуары пишет и стар и млад. Повсюду идет охота на невымышленную реальность. У всех – горячка памяти. Наверное, неуверенность в прошлом – реакция на гибель прежнего режима. В одночасье все важное стало неважным. Обесценились слова и должности. Главный советский поэт в новой жизни стал куроводом. Точно как последний римский император, если верить Дюрренматту.

Воронка, оставшаяся на месте исчезнувшей страны, втягивает в себя все окружающее. Не желающие разделить судьбу государства пишут мемуары, чтобы от него отмежеваться. Неудивительно, что лучше это удастся тем, кто к нему и не примазывался. Гордый своей маргинальностью, мемуарист пишет хронику обочины.

Раньше воспоминания писали, чтобы оценить прошлое, теперь – чтобы убедиться: оно было. Удостовериться в том, что у нас была история – своя, а не общая.

“В хороших мемуарах, – писал Довлатов, – всегда есть второй сюжет (кроме собственной жизни автора)”.

У меня второй сюжет как раз и есть жизнь автора, моя жизнь. Я родился в феврале 53-го. Свидетельство о рождении датировано 5 марта. Загсы в этот день работали – о смерти Сталина сообщили позже.

Советская власть появилась за тридцать шесть лет до моего рождения и закончилась через три-дцать шесть – с падением Берлинской стены. Угодив в самую середину эпохи, я чувствую себя не столько свидетелем истории, сколько беженцем из нее. В моей жизни все события – частные. Я не могу вспомнить ничего монументального.

Авторов более уверенных, чем я, это не смущает. Джон Кейдж, тот самый, что заставлял на своих концертах слушать тишину, писал: “Мне нечего сказать, я говорю об этом, и это поэзия”.

Мне до такого не дотянуть. Я люблю абсурд, но только у других. Сам я – раб осмысленного повествования. Мне неловко задерживаться на деталях, которые и для меня-то не имеют особого значения. А ведь из них – как выясняешь рано или поздно – состоит вся жизнь.

Пожалуй, мое самое значительное метафизическое переживание связано с осознанием незначительности любого опыта.

В университете я учился лучше всех, что было нетрудно – преподавательницы меня любили. Еще и потому, что вместе со мной мужской пол на всем курсе представляли трое. Один – чрезвычайно прыщавый поэт, другой, наоборот, стал после филфака офицером. Я же был хиппи, отличником и пожарным. Экзамены приходил сдавать в кирзовых сапогах. На гимнастерку из-под форменной фуражки свисали длинные волосы. Короче, в нашем унылом заведении я был не последним развлечением.

Тем не менее вместо меня в аспирантуру, о которой я страстно мечтал, приняли долговязую генеральскую дочь, писавшую, как все у нас, меланхолические стихи. В Риге делать мне стало нечего, и я уехал в Америку.

Прошло много лет, и вся эта история кажется – да и есть – совершенно неважной.

Чему завидовать? Диссертации “Шолохов в Латвии”? Папе-генералу, который стал обую в этой самой теперь уже независимой Латвии?

Речь, впрочем, о другом. Если моя студенческая драма обесценилась, стоило лишь мне оказаться по другую сторону океана, то какими же незначительными будут казаться все остальные наши дела, когда мы окажемся вообще по ту сторону, особенно если ее не будет?

Так я решил написать книгу о Довлатове.

Книги о других пишут, когда нечего сказать о себе. В данном случае это не совсем так.

Я-то как раз ее пишу, рассчитывая поговорить и о себе. Просто Довлатов – крупная фигура. В том числе и буквально. Однажды мы с Вайлем пришли к Шарымовой, известной своим умением молниеносно готовить. Устав слоняться без закуски, мы завернули к ней с брикетом мороженой трески. Угодили под конец пирушки, которую оживили своим приходом. Вынудив хозяйку отправиться на кухню, мы плотно уселись за стол, но тут повалил едкий дым. Поленившись разворачивать рыбу, Наталья положила ее на сковороду прямо в картонной коробке. На переполох из спальни вышел Довлатов. Мы даже не знали, что он участвовал в веселье. Сергей, к которому тогда мы еще не успели привыкнуть, выглядел сильно. Одетый во что-то с погончиками, он с трудом втискивался в дверной проем. Вспомнив сериал, герой которого в минуту опасности преображался в зеленого монстра, я восторженно выкрикнул: “*Incredible Hulk!*”

– Невыносимый Халк, – неправильно, но точно перевел довольный Довлатов.

Эта книга началась дождливым майским днем в Петербурге. Я сидел в редакции “Звезды” и рассказывал о Довлатове. К таким расспросам я уже давно привык, не могу понять только одного: почему Довлатова изучают исключительно красивые и рослые славистки? Ладно – канадка, пусть – француженка, но когда в Токио меня допрашивала японка баскетбольного роста, я уже всерьез поразился мужскому обаянию Сергея, витающему над его страницами.

Так или иначе, мое петербургское интервью плавно катилось к финалу. За это время к дождю за окном прибавились град и даже хлопья снега. Неожиданно в комнате появилась промокшая женщина с хозяйственной сумкой. Оказалось – офеня. Она обходила окрестные конторы, предлагая свой товар – импортные солнечные очки. В этом была как раз та степень обыденного абсурда, который часто служил отправной точкой довлатовской прозе. Я понял намек и, вернувшись в Нью-Йорк, уселся за письменный стол.

2

Довлатов дебютировал в печати мемуарами. Когда я прочел “Невидимую книгу” впервые, мне показалось, что в литературе стало тесно от незнакомых звезд.

Выросший в провинциальной Риге, где литературная среда исчерпывалась автором лирического романа о внедрении передовых методов производства, я завидовал Довлатову, как д’Артаньян трем мушкетерам.

Мир, в который дал заглянуть Довлатов, был так набит литературой, юмором и пьянством, что не оставлял места для всего остального. Он был прекрасен и казался скроенным по моей мерке.

Через год после смерти Довлатова я участвовал в посвященном ему вечере в Ленинграде. Для меня все, кто оказался на сцене, пришли туда из “Невидимой книги” – кубистический Арьев, гуттаперчевый Уфлянд, медальный Попов, Сергей Вольф, списанный у Эль Греко. У Довлатова фигурировал даже зал Дома Союза писателей имени Маяковского. Последний запомнился мне больше всех – памятник поэту занимал весь гардероб.

С тех пор многие друзья Довлатова стали моими приятелями. Но, перечитывая “Невидимую книгу”, я не могу отделаться от впечатления: подлинное в этих мемуарах – только фамилии героев.

Герои Сергея были и правда людьми замечательными, только на свои портреты они походили не больше, чем мультипликационные герои на угловатых персонажах кукольных фильмов. В жизни им не доставало того беглого лаконизма, который придало им довлатовское перо.

В исполнении Довлатова все они – блестящие, остроумные, одержимые художественными безумствами – выглядели крупнее и интереснее примостившегося с краю автора. Сергей сознательно пропускал их вперед.

Выведя друзей на авансцену, Довлатов изображал их тем сверхкрупным планом, который ломает масштаб, коверкает перспективу и деформирует облик, делая привычное странным.

Вот так на японской гравюре художник сажает у самой рамы громадную бабочку, чтобы показать в растворе ее крыльев крохотную Фудзияму. Как она, Довлатов маячил на заднике своих мемуаров.

О себе Сергей рассказывал пунктиром, перемежая свою историю яркими, как переводные картинки, сценками богемной жизни.

В этом было не столько смирение, сколько чутье. Смешиваясь с другими, Довлатов вписывался в изящный узор. Свою писательскую биографию он не вышивал, а ткал, как ковер. Входя в литературу, Довлатов обеспечил себя хорошей компанией.

Умирают писатели поодиночке, рождаются – вместе. Поколение – это квант литературной истории, которая может развиваться только скачками. В словесности всякая преемственность прерывистая. Смена поколений происходит рывком. Накопившиеся противоречия в интонациях концентрируются до того предела, за которым и спорить не о чем.

Но поскольку размежевание происходит в одной среде (другую, как написано у Довлатова, они не то что в литературу, в трамвай бы не пустили), то и осознать происшедшую перемену так же трудно, как увидеть себя со всех сторон сразу. Для этого нужны другие.

Поколение как субботник. Оно реализуется в массе. Меняется не индивидуальный стиль, меняются коллективные ценности – этические приоритеты, ритуалы, реакция на окружающее, окружающее.

Но и этого мало. Как всякий бунт детей против отцов, разрыв не только мучителен, но и бесполезен до тех пор, пока он не завершится появлением нового поколения. Чтобы это произошло, нужен центр притяжения. Как магнит, определяющий движение железных опилок, он обнаруживает структуру и порядок в хаосе дружеского общения.

“Довлатов, – много лет спустя сказал Валерий Попов, – назначил нас поколением”. Удача и судьба сделали его последним в советской истории.

3

Набоков пишет, что Гоголь сам создавал своих читателей. Довлатову читателей создала советская власть. Сергей стал голосом того поколения, на котором она кончилась. Неудивительно, что оно его первым и признало.

Моложе меня в эмигрантской литературе тогда никого не было, а те, кто постарше, от Довлатова кривились. Особенно недоумевали слависты – им было слишком просто.

Сергей, в отличие от авангардистов, нарушал норму без скандала. Он не поднимал, а опускал планку. Считалось, что Довлатов работает на грани фола: еще чуть-чуть – и он вывалится из литературы на эстраду. В его сочинениях ощущался дефицит значительности, с которым критикам было труднее примириться, чем читателям.

Даже такие восторженные поклонники, как мы, написали, что Довлатову авансом досталась любовь читателей, которые после очаровательных пустяков ждут от него вещи толстой и важной.

Озадаченный этой “толстой вещью”, Сергей спросил, не подумают ли подписчики “Нового американца”, что имеется в виду член?

В рассказах Довлатова не было ничего важного. Кроме самой жизни, разумеется, которая простодушно открывалась читателю во всей своей наготы. Не прикрытая ни умыслом, ни целью, она шокировала тем, что не оправдывалась. Персонажи Довлатова жили не хорошо, не плохо, а как могли. И вину за это автор не спихивал даже на режим. Советская власть, привыкшая отвечать не только за свои, но и за наши грехи, у Довлатова незаметно ступшеывалась. Власть у него занимала ту зону бедствий, от которой нельзя избавиться, ибо она была неременным условием существования.

Не то чтобы Довлатов примирялся с советскими безобразиями. Просто он не верил в возможность улучшить человеческую ситуацию. Изображая социализм как национальную форму абсурда, Сергей не отдавал ей предпочтения перед остальными его разновидностями. Довлатов показал, что абсурдна не советская, а любая жизнь. Вместе с прилагательным исчезало и ощущение исключительности нашей судьбы.

В книгах Довлатова разоблачаются не люди и не власти, а могучий антисоветский комплекс, который я бы назвал “мифом Штирлица”.

Что главное в знаменитом сериале? Лыстящее самолюбию оправдание двойной жизни. Штирлиц вынужден прятать от всех лучшую часть своей души. Только исключительные обстоятельства – жизнь в кругу врагов – мешают ему проявить свою деликатность, чуткость, тонкость и необычайные таланты, вроде умения писать левой рукой по-французски.

Впрочем, все эти качества Штирлиц все-таки иногда демонстрирует, но – за границей. На родине, видимо, не стоило и пытаться.

Лишившись униженного статуса жертв истории, герои Довлатова теряют и вражеское окружение, на которое можно все списать. Их политические проблемы заменяются экзистенциальными, личными, даже интимными.

Режим – это форма нашего существования, а не чужого правления. Он внутри, а не снаружи. Ему негде быть, кроме как в нас, а значит, с ним ничего не поделаешь.

В мире Довлатова нет бездушных принципов, но полно беспринципных душ. Его герои лишены общего идейного знаменателя. Личные мотивы у них всегда превалируют над общественным интересом. Его мать-армянка ненавидит Сталина из-за того, что он грузин, а дядя идет на войну потому, что и в мирное время любил подраться.

4

Довлатов деконцептуализировал советскую власть. Собственно, он сказал то, о чем все уже знали. Идеи, на которой стояла страна, больше не существует. К этому он добавил кое-что еще: никакой другой идеи тоже нет, потому что идей нет вовсе.

Осознание этого обстоятельства и отличает последнее советское поколение от предпоследнего. Одни противопоставляли верные идеи ложным, другие вообще не верили в существование идей.

Падение всякой империи упраздняет тот универсальный принцип, который ее объединял, оправдывал и позволял с нею бороться. Освобожденная от плана реальность становится слишком многообразной, чтобы ее можно было объяснить – только описать.

Сырая жизнь требует непредвзятого взгляда. Идеологию истолковывают, на жизнь смотрят желательно – в упор. Писатели предыдущего поколения говорили о том, как идеи меняют мир. Довлатов писал о том, как идеи не меняют мир – и идей нет, и меняться нечему.

Жизнь без идей компрометировала прежнюю этическую систему. Особенно ту нравственную риторику, которой друзья и враги советской власти выкручивали друг другу руки.

Издали героизм вызывает восхищение, на среднем расстоянии – чувство вины, вблизи – подозрение.

Один мой отсидевший свое знакомый говорил, что направлять власть обычно рвутся те, кто не знает, как исправить дела дома. Что и понятно: семью спасти труднее, чем родину. Да и служить отечеству веселее, чем просто служить.

“Проповедовать добро, справедливость и благородные деяния перед жесткосердным государем, – говорил Чжуан-цзы, – значит показать свою красоту, обнажая уродство другого. Поистине такого человека следовало бы назвать ходячим несчастьем”.

Идеализм – постоянный источник подспудного раздражения, потому что он требует ответа. Все равно что жить со святым или обедать с мучеником.

Святыми, однако, диссиденты себя не считали. Да и не так уж часто они кололи глаза своими подвигами. И все-таки антисоветское начало настораживало лишь чуть меньше, чем советское. “После коммунистов, – писал Довлатов, – я больше всего ненавижу антикоммунистов”.

По-моему, к диссидентам относились как к священникам: и те и другие – последние, которым прощают грехи. Видимо, презумпция добродетели – слишком сильное искушение для злорадства.

Не зря единственный случай, когда Довлатов при мне использовал по назначению свои незаурядные физические данные, был связан с диссидентом. В “Филиале” Сергей изобразил его под фамилией Акулич. Как ветерана “непримиримой идейной борьбы” его выдвигают в президенты свободной России. Но тут встает “красивая женщина-фотограф” и требует, чтобы он отдал 60 долларов за сделанные ею слайды. В ответ Акулич говорит: “Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете”.

Я знал участников этой истории. И замечательно нас всех снимавшую Нину Аловерт, и ветерана “Акулича”, шумного еврея, выдававшего себя за грузина. При мне была произнесена и упомянутая фраза, услышав которую Довлатов спустил борца с тоталитаризмом с тесной редакционной лестницы. Через минуту потерпевший просунул голову в дверь, хлопотливо приговаривая: “Зима на улице, а я тут пальто забыл”.

Довлатов не любил диссидентов. То есть не то чтобы не любил, но относился хмуро, не доверял, сдержанно иронизировал. Описывая разгон эстонского либерализма, он завершает абзац чисто щедринской фразой: “Лучшая часть народа – двое молодых ученых – скрылась в подполье”.

Довлатовской прозе свойственен подпольный аморализм. Он заключается в отсутствии общего для всех критерия, позволяющего раздавать оценки. Герой Довлатова живет “по ту сторону добра и зла”. Но не как ницшеанский сверхчеловек, а как недочеловек – скажем, кошка.

С животными, кстати, у меня мораль связана с детства. Впервые услышав про нее от отца, я стал доказывать, что мораль – травоядное. Мы даже поспорили на лимонад с пирожным. И я выиграл, продемонстрировав в детской энциклопедии фотографию: олень с ветвистыми рогами, а под ним черным по белому: “марал”.

Смех и трепет

1

Стихия смеха – воздух. В смехе есть нечто зыбкое, эфемерное, естественное и незаметное. Шутка, как ветер, подхватывает и несет тебя по разговору. Как у полета во сне, у этого движения нет цели – одно наслаждение.

Все мы раньше очень много шутили, более того, мы шутили всегда. Это напоминало американский сериал, где смех прерывает действие раз в пять – десять секунд. Такая манера общения может показаться механической, но только не тогда, когда ты сам участник разговора, состоящего из передразниваний, каламбуров и вывернутых цитат.

Одно время мы называли эту алогичную скороговорку “поливом”, думая, что ее изобрело наше поколение. Но потом я обнаружил точно такой диалог в первой главе “Улисса” и понял, что “полив” был всегда. Это своего рода литературная школа, буриме, словесная протоплазма, в которой вывариваются сгустки художественного языка.

Как все знают, смех не поддается фальсификации. Проще выжать слезу, чем улыбку. Это как с лошадью, которую можно привести к водопою, но нельзя заставить пить.

В смехе прямота и очевидность физиологической истины сочетаются с тайной происхождения. Ведь мы к юмору имеем отношение косвенное. Он разлит в самой атмосфере удачной беседы, когда шутка перелетает от одного собеседника к другому, как эхо через речку.

Юмор – коллективное действие, но и в хоре есть солисты. Лучшим из них был художник Бахчанян. (Единственным определением жанра, в котором работал многообразный Вагрич, служит его экзотическая фамилия, и художником я называю его скорее в том смысле, в каком говорят “артист” про карманника.)

За двадцать лет дружбы я пригляделся к ремеслу Бахчаняна. Его мастерская – приятельское застолье, в котором он, собственно, и не участвовал – разве что как тигр в засаде. (“Вагрич” как раз и значит “тигр” по-армянски.)

Бахчанян напряженно вслушивался в разговор, в котором распускались еще не опознанные соцветия юмора. Их-то Вагрич и вылавливал из беседы. Чуть коверкая живую, еще трепещущую реплику, он давал ей легкого пинка и вновь пускал в разговор в преображенном или обезображенном виде.

К сожалению, застольный юмор слишком укоренен в породившей его ситуации и потому с трудом ложится на бумагу. Обычно на ней остаются только ставшие фольклорными бахчанянские каламбуры, вроде эпохального “Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью”.

2

Сергей очень любил Бахчаняна. Однажды он нарисовал его – висящим в проволочной петле. Это была иллюстрация к юмористической рубрике в “Новом американце”, которой тот же Довлатов придумал и название – “Бахчанян на проводе”. Вагричу это не понравилось. Он любил быть хозяином, а не жертвой положения, и название пришлось сменить, но остался составленный из запятых человек с длинным армянским носом.

В отличие от Бахчаняна Сергей не был ни шутником, ни блестящим импровизатором, ни даже особо находчивым собеседником. Как многие другие, он обходился “остроумием на лестнице”. Встретив Бродского после многолетней разлуки, Довлатов обратился к нему на “ты”.

– Мы, – заметил тот, – кажется, были на “вы”.

– С вами, Иосиф, – хоть на “их”, – выкрутился Сергей, но только день спустя, пересказывая всем эту историю.

Сергей, кстати, всегда охотно рассказывал о неловких положениях, в которые ему приходилось попадать. Обезоруживая других, он смеялся над собой, но не слишком любил, когда это делали другие.

Мы с Вайлем написали на Довлатова довольно похабную пародию под названием “Юбилейный пальчик”. Действие, помнится, происходило в эстонском баре “Ухну”. Пародию мы выдали за самиздатскую, и Сергей возмущался “надругательством” до тех пор, пока не узнал в нас авторов, после чего произнес свою любимую фразу: “Обидеть Довлатова легко, понять трудно”.

Как ни странно, по отношению к нему этот незатейливый трюизм – святая правда. Его действительно труднее понять, чем большинство известных мне писателей.

Смешное Сергей не выдумывал, а находил. Он обладал удивительным слухом и различал юмор отнюдь не там, где его принято искать.

Довлатов, например, уверял, что Достоевский – самый смешной автор в нашей литературе, и уговаривал всех написать об этом диссертацию.

Его интересовали те находки, что, как трюфели, избегали поверхности. Этой азартной охотой Довлатов заражал других. Мы часами обменивались цитатами из классиков, которыми гордились как своими.

Довлатов, скажем, приводил монолог капитана Лебядкина: “Попробуй я завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмолинский пехотный полк, с тем, чтобы каждый день выбивать на нем перед полком русский национальный гимн, сочтут за либерализм, запретят мою кожу...”

Я делился находкой из “Ревизора”: “Мне кажется, – спрашивает Хлестаков у попечителя богоугодных заведений, – как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?” На что Земляника покорно отвечает: “Вполне возможно”.

Вайль любил вспоминать Павла Петровича Петуха, который приговаривает, потчуж Чичикова жареным телянком: “Два года воспитывал на молоке, ухаживал, как за сыном!”

Однажды мы так долго сидели в нашем любимом кафе “Борджиа”, что перепробовали всё меню. Даже официантка не выдержала и спросила: “О чем можно говорить четыре часа?” Мы ей сказали правду: “О Гоголе”.

3

Всвои “Записные книжки” Сергей заносил не то, что ему говорили, а то, что он слышал. Я, например, не помню, чтобы рассказывал Довлатову хоть одну из баек, в которых упоминается моя фамилия.

Дело не в искажении истины – все эти истории, увы, достаточно близки к правде – мне просто трудно понять принципы отбора. Думаю, что Сергей лучше знал, из чего делается литература.

Как-то зимой Довлатов собирался за границу и расспрашивал, где ему получить нужные бумаги. Я нудно объяснял. Раздраженный перспективой Сергей с претензией говорит:

– Ну и как же я найду в толпе просителей чиновника?

– В американской конторе, где нет гардеробов, он один будет без пальто, – сказал я и удостоился довлатовского одобрения.

Другой раз это случилось летом. Закуривая (тогда мы еще оба курили), я пожаловался, что в жару карманов мало – спички некуда деть, а зимой карманов так много, что спички и не найдешь.

Я сам не знаю, что Довлатов нашел в этих незатейливых репликах, но Сергей умел пускать в дело то, что другие считали шлаком. Он сторожил слово, которое себя не слышит. Его интересовало не то, что люди говорят, а то, о чем они проговариваются.

Анри Бергсон, чуть ли не единственный философ, сказавший что-то дельное о юморе, писал, что смешным нам кажется человек, который ведет себя как машина. У Довлатова это – говорящая машина. Он подслушивал своих героев в те минуты, когда они говорят механически, не думая.

В мире мертвевшего, клишированного языка не важно, что говорить. Речь выполняет ритуальную роль, смысл которой не в том, что говорится, а в том, кем и когда произносятся обрядовые формулы.

Сейчас меняются части этих формул, но не их магическая функция. Вот недавний пример.

– Вывод войск, – говорит телевизионный комментатор, – должен проходить цивилизованным путем, то есть позже, чем предусмотрено договором.

Комическое противоречие в содержании не замечается, потому что соблюдена форма, требующая употребить волшебное слово “цивилизованный”. Язык работает вхолостую. Никто не слышит того, что говорится, потому что никто и не слушает. Кроме Довлатова, который хватал нас за руку, чтобы поделиться подслушанным.

У одного писателя он нашел “ангела в натуральную величину” и “кричащую нечеловеческим голосом козу”. У другого – “локоны, выбивающиеся из-под кружевного фартука”. А вот что говорит его майор Афанасьев: “Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья-то физиономия – бей в рожу!”

Этот же прием используется в лучшем рассказе “Зоны” – “Представление”. Довлатов заставил читателя – скорее всего, впервые в жизни – вслушаться в слова исполняющегося перед зеками “Интернационала”: “Вставай, проклятем заклеянный, весь мир голодных и рабов”.

4

Как-то я сдуру попал в нью-йоркский ночной клуб “Туннель”. Много чего там было странного: мохнатый бар с поросшими синей шерстью стенами, манекенщицы в водолазных костюмах, стойка с напитками вокруг писсуара. Но больше всего меня поразила оптическая оргия.

В полной темноте на долю секунды вспыхивает ослепительная лампа. С каждой вспышкой картина меняется, но никакого движения в зале не происходит – оно скрыто от нас периодами темноты.

Создается тревожный эффект. Привычный нам слитный мир распадается на фрагменты – как в вынутой из проектора киноленте. Мигающий свет делает танцующих неподвижными, придавая им выразительность восковых фигур. Живое притворяется неживым – застывшие гримасы, обрубки жестов.

Вот такую технику стоп-кадра и применял Довлатов. Перегораживая поток дурного подсознания, он останавливал мгновение. Не потому, что оно прекрасное, а потому, что смешное.

В театре не принято душить Дездемону на глазах у зрителей. У Довлатова кулисы скрывают скучную, банальную, а главное – несмешную жизнь. По его рассказам персонажи передвигаются урывками. Мы видим их только тогда, когда они говорят или делают что-нибудь смешное. Однако отнюдь не этим ограничивается их роль.

В одной заметке Сергей приписал нам с Вайлем собственную теорию смешного. “Юмор, – пишет он, пересказывая якобы наши, а на самом деле свои мысли, – инструмент познания жизни: если ты исследуешь какое-то явление, то найди – что в нем смешного, и явление рас-

кроется тебе во всей полноте. Ничего общего с профессиональной юмористикой и желанием развлечь читающую публику все это не имеет”.

Сергей верил, что юмор, как вспышка света, вырывает нас из обычного течения жизни в те мгновения, когда мы больше всего похожи на себя. Я не верил в эту теорию, не узнавая себя в “Записных книжках” Довлатова, пока не сообразил: я не похож, но другие-то – вылитая копия.

5

Сергей учил расходовать юмор экономно. Пишет он, скажем, скрипт для радио – зарисовка эмигрантского быта страницы на две. Аккуратно, но вяло, зато в самом конце, под занавес, идет диалог, под который подстраивался весь текст.

– Моня, – спрашивает Сергей у хозяина русского гастронома, – почему у вас “лещ” с мягким знаком?

– Какого завезли, таким и торгуем.

Сначала я думал, что Довлатов просто жадничает. Тем более что и хитрость небольшая. Я тоже всякую заказную работу начинаю с конца – с последнего предложения. Но это, когда знаешь, что должно получиться.

В школе я терпеть не мог алгебру, но уравнения – длиннющие, на целый урок – решал довольно сносно. Я просто гнал ответ к нулю или единице, сообразив, что эстетическое чувство вынудит автора задачника свести пример к круглому результату. Однако тем и отличается художественная литература от любой другой, что тут автор и сам не знает ответа.

Не экономия, а философия заставляла Довлатова прореживать в своей прозе шутки, которые он размещал исключительно в стратегически важных, но отнюдь не самых эффективных местах. Сергей, например, никогда не начинал и не заканчивал рассказ смешной фразой.

Довлатов приберегал юмор для тех ситуаций, в которых он неуместен. Смех у него паразитирует на насилии, он питается страхом и жестокостью.

Товарищ и соперник Довлатова Валерий Попов в одном рассказе заметил, что нигде так не смеются, как в реанимационном отделении. Вот и у Довлатова смешное обычно связано со страшным.

Автор, например, узнаёт, что его брат, управляя машиной пьяным, сбил прохожего. Дальше идет телефонный разговор:

– Ты, наверное, в жутком состоянии?! Ты ведь убил человека! Убил человека!..

– Не кричи. Офицеры созданы, чтобы погибать...

Смех у Довлатова, как в “Криминальном чтиве” Тарантино, не уничтожает, а нейтрализует насилие. Вот так банан снимает остроту перца, а молоко – запах чеснока.

Юмор и страх внеположны друг другу, но, соединяясь, они образуют динамичную гармонию, составные части которой примеряются, не теряя своего лица.

Смешав ярко-красный с темно-синим, художник получит серую краску. От разведенной сажи или испачканных белил этот цвет отличает чрезвычайная интенсивность. Рожденная из кричащего противоречия серость хранит память о своем необычном происхождении. Соседство смешного и страшного у Довлатова заменяет черно-белую картину мира серой. Будни в его рассказах окрашены серостью преодоленного ужаса и подавленного смеха.

6

Среди тех, кто умеет смешить, редко встречаются весельчаки. Над своими шутками им не позволяет смеяться этикет, а над чужими – гордость. Довлатов же, обожая веселить других,

любил и сам посмеяться, делая это необычайно лестным для собеседника образом – ухая и растирая кулаком слезы.

Однажды, собрав смешные казусы из газетной жизни, мы сочинили “Преждевременные мемуары”. Показали их Довлатову. Уханье из-за стены доносилось настолько часто, что мы уже заранее порозовели от предстоящих похвал. Но приговор Сергея был суровым: не найдя тексту ни формы, ни смысла, мы, сказал он, разбазарили смешной материал. В прозе юмор должен не копиться, а работать.

В те годы я был уверен, что юмор – не средство, а цель. Одержимый идеей мастерства, я заменял все другие оценки словом “смешно”, потому что в нем слышались лаконизм и точность. Анекдот убивают длинноты и отсебятина. Смешное, как стихи или музыку, нельзя пересказать – только процитировать. Поскольку юмор – это то, что остается, когда убирают лишнее, то смешное – первичная стихия литературы, в которой словесность живет в неразбавленном виде.

Довлатов такой взгляд на вещи не разделял и делал все, чтобы от него нас отучить. В его письмах я обнаружил суровую отповедь: “Отсутствие чувства юмора – трагедия для литератора, но отсутствие чувства драмы (случай Вайля и Гениса) тоже плохо”.

Нам он этот тезис излагал проще: хоть бы зубы у вас заболели. Иногда Сергей с надеждой спрашивал:

– Ну признайся, вы с Петей хоть раз подрались?

В себе Сергей чувство драмы лелеял и холил. Никогда не забываясь, он прерывал слишком бурное веселье приступом хандры. Обнаружить то, что ее вызвало, было не проще, чем объяснить сплин Онегина. Сергея могло задеть неловкое слово, небрежная интонация, бесцеремонный жест. И тогда он мрачнел и уходил, оставляя нас размышлять о причинах обид.

Мнительность была его органической чертой. Плохие новости Сергей встречал стойко, хорошие – выводили его из себя. Он ждал неудачу, подстерегал и предвидел ее.

Отстаивая свое право переживать, в том числе и впустую, Довлатов бесился из-за нашей полупринципиальной-полубездумной беззаботности. Как-то в ответ на его очередную скорбь я механически бросил:

– А ты не волнуйся.

В ответ Сергей, не признававший ничего не значащих реплик, взорвался:

– Ты еще скажи мне: стань блондином.

Довлатов считал себя человеком мрачным. “Главное, – предупреждал он в одном письме, – не подумай, что я веселый, и тем более счастливый человек”. И вторил себе в другом: “Тоска эта блядская, как свойство характера, не зависит от обстоятельств”.

Я ему не верил до тех пор, пока сам с ней не познакомился. Мне кажется, это напрямую связано с возрастом. Только доживя до того времени, когда следующее поколение повторяет твои ошибки, ты убеждаешься в неуникальности своего существования. Тоска – это осознание того предела, о существовании которого в юности только знаешь, а в зрелости убеждаешься.

Источник тоски – в безнадежной ограниченности твоего опыта, которая саркастически контрастирует с неисчерпаемостью бытия. От трагедии тоску отличает беспросветность, потому что она не кончается смертью.

“Печаль и страх, – пишет Довлатов, – реакция на время. Тоска и ужас – реакция на вечность”.

Дело ведь не в том, что жизнь коротка – она скорее слишком длинна, ибо позволяет себе повторяться. Желая продемонстрировать истинные размеры бездны, Камю взял в герои бессмертного Сизифа, показывая, что вечная жизнь ничуть не лучше обыкновенной. Когда доходит до главных вопросов, вечность нема, как мгновенье.

Бродский называл это чувство скукой и советовал доверять ей больше, чем всему остальному. Соглашаясь с ним, Довлатов писал: “Мещане – это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо”.

Для художника прелесть тоски в том, что она просвечивает сквозь жизнь, как грунт сквозь краски. Тоска – дно мира, поэтому и идти отсюда можно только вверх. Тот, кто поднялся, не похож на того, кто не опускался.

Раньше в довлатовском смехе меня огорчал при-вкус ипохондрии. Но теперь я понимаю, что без нее юмор как выдохшееся шампанское: градусы те же, но праздника нет.

Довлатов не преодолевает тоску – это невозможно, – а учитывает и использует. Именно поэтому так хорош его могильный юмор. В виду смерти смех становится значительным, ибо она ставит предел инерции. Не умея повторяться, смерть возвращает моменту уникальность. Смерть заставляет вслушаться в самих себя. Человек перестает быть говорящей машиной на пути к кладбищу.

Такое путешествие Довлатов описывает в рассказе “Чья-то смерть и другие заботы”:
“Быковер всю дорогу молчал. А когда подъезжали, философски заметил:

– Жил, жил человек и умер.

– А чего бы ты хотел? – говорю”.

Поэтика тюрьмы

1

С тех пор как кончилась советская власть, моим любимым поэтом стал александрийский грек Кавафис. Я даже пере- снял карту Александрии – не той, которая была центром мира, а той, которая стала его глухой окраиной. В Александрии я не был, но хорошо представляю ее себе по другим городам Египта. Слепящая пыль, мальчишки, с вожделием разглядывающие выкройку в женском журнале, подозрительный коньяк “Омар Хайям” из спрятанной в переулок винной лавки, на закуску – финики с прилипшей газетной вязью. Стойкий запах мочи, добавляет путеводитель.

Меня покоряет пафос исторической второсортности Кавафиса. Он называл себя поэтом- историком, но странной была эта история. В сущности, его интересовала лишь история нашей слепоты. В стихах Кавафиса множество забытых императоров, проигравших полководцев, пло- хих поэтов, глупых философов и лицемерных святых. Кавафиса волновали только тупики истории. Спасая то, что другие топили в Лете, он, заполняя выеденные скукой лакуны, делал бытие сплошным. Кавафис восстанавливал справедливость по отношению к прошлому. Оно так же полно ошибок, глупостей и случайностей, как и настоящее.

При этом Кавафис отнюдь не собирался заменять историю победителей историей проиг- равших. Его проект радикальней. Он дискредитирует Историю как историю, как нечто такое, что поддается связному пересказу. История у Кавафиса не укладывается в прокрустово ложе причин и следствий. Она распадается на странички, да и от них в стихи попадают одни помарки на полях. Каждая из них ценна лишь своей истинностью. Оправдание ее существования – ее существование.

Упоенно проживая отведенный им срок, герои Кавафиса не способны выйти за его пре- делы. Их видение мира ограничено настоящим. Все они бессильны угадать свою судьбу. Чем и отличаются от автора, который смотрит на них обернувшись: их будущее – его прошлое. Так Кавафис вводит в историю ироническое измерение. Форма его иронии – молчание. Устраняясь из повествования, он дает выговориться другим. Автор не вмешивается, не судит, не высказы- вает предпочтенье. Он молчит, потому что за него говорит время.

При чем тут Довлатов? При том, что крайне оригинальную точку зрения Кавафиса на мир разделяет выросшее на обочине поколение, голосом которого говорил Довлатов.

Дело в том, что с горизонта довлатовской прозы советская власть исчезла задолго до своей кончины. Сам того не замечая, Довлатов глядел на нее как историк – в том, конечно же, смысле, который вкладывал в это слово Кавафис.

Главное в этом взгляде – не мудрость, а смирение: мы видим не то, что знаем, а то, на что смотрим. Не меньше, но ни в коем случае и не больше.

Это не так просто. Ведь нас учили тому, что история, как жизнь, обладает началом и концом. Что в ней всегда есть смысл, придающий значение нашим дням. Смотреть на вещи прямо означало отказаться от претензии понять их взаимосвязь. Мы вновь оказывались в мире, который нельзя объяснить – ни происками властей, ни капризом злой воли.

Как и Кавафис, Довлатов не подправлял, но провоцировал реальность, заставляя ее высказаться там, где этот голос звучит яснее всего – в зоне: “Я оглядел барак. Все это было мне знакомо. Жизнь с откинутыми покрывами. Простой и однозначный смысл вещей”.

2

Японцы редко говорят о войне. Рассказывая о ней, надо либо хвастать, либо жаловаться – и то и другое несовместимо с соображениями приличий. Нечто похожее происходит и с лагерниками. О прошлом они обычно рассказывают анекдоты.

Истории сидевших людей часто уморительны, иногда трогательны, изредка глубоки, но никогда не трагичны. О страшном не говорят, это – фон, черный, как школьная доска, на которой меловые рожицы выходят еще забавнее.

Синявский, например, и о Мордовии говорил не без теплоты. Рассказывал, что, вернувшись в Москву, не мог отделаться от привычки здороваться с посторонними, как это было принято в лагере. Но вот почему он ненавидел кашу и ел, прикрыв рот ладонью, я могу только догадываться.

В нашем кругу лагерная тема звучала достаточно громко. Сам Довлатов был надзирателем, среди общих знакомых – известные зеки, знаменитые стукачи, даже один следователь. Участвуя в их разговорах, Сергей слушать любил больше, чем говорить. Может быть, потому, что слишком ценил свой лагерный опыт.

К блатным Довлатов относился пристрастно, говорил с восхищением об их языке, воображении, походке. Не без гордости Сергей принимал и свою популярность у бывших зеков.

При этом Довлатов не заблуждался насчет зеков и “братьев меньших” в них не видел. Не было тут, конечно, и той зависти к дворовым мальчишкам, которая часто порождает комплексы у интеллигентов.

В довлатовской системе координат зеку выпадает роль набата. Уголовник – такая же неотъемлемая часть мира, как академик и балерина. Жизнь не поддается редактуре, она тотальна, целостна, неделима. Либо вы принимаете мироздание как оно есть, либо возвращаете билет Творцу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.